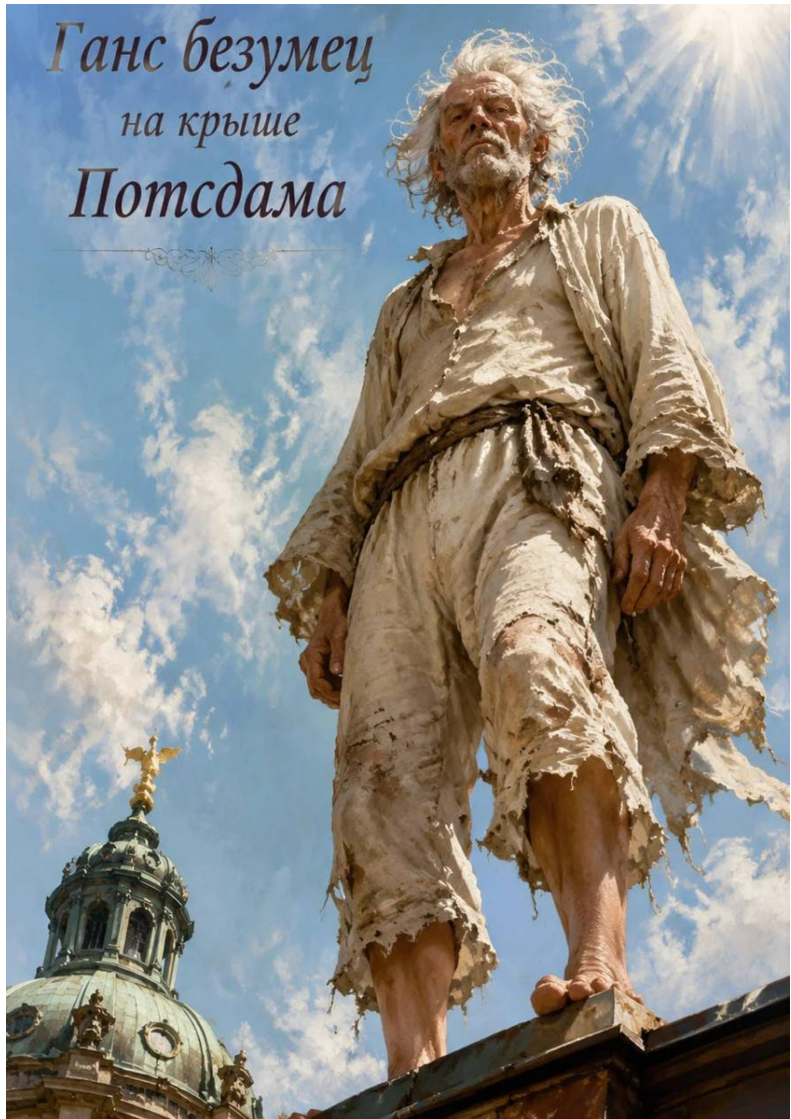


*Ганс безумец
на крыше
Потсдама*



Дамир Янсуфин Ганс безумец на крыше Потсдама

<https://litres.ru/74055371>

SelfPub; 2026

Аннотация

Потсдам, 1763 год. Пруссия. Король Фридрих II, прозванный Великим, погружён в меланхолию, его двор погряз в лести и интригах, а казна пуста. В это смутное время на крышу одного из домов взбирается Ганс Фогельзанг — бедный переплётчик, которого весь город принимает за безумца. Он выкрикивает оскорбления в адрес торговцев, прохожих, стражников и самого короля, вызывая всеобщий ужас и смятение. Кажется, его ждёт тюрьма или виселица. Но случается непредвиденное: советник короля, барон фон Гляйхен, видит в дерзком безумце не врага, а человека, способного сказать монарху правду, которую тот давно не слышал.

Так начинается удивительная история дружбы и противостояния между королём-философом и переплётчиком-вольнодумцем. Ганс предлагает Фридриху идеи, опережающие время на столетия: промышленные мануфактуры, свободную трибуну для народа, социальные реформы. Он становится

тенью короля, его «серым кардиналом» и единственным, кто осмеливается обращаться к монарху на «ты».

Дамир Янсуфин Ганс безумец на крыше Потсдама

Потсдам, 1763 год. Пруссия приходит в себя после Семилетней войны. Король Фридрих II, прозванный Великим, погружён в меланхолию, его двор погряз в лести и интригах, а казна пуста. В это смутное время на крышу одного из домов взбирается Ганс Фогельзанг — бедный переплётчик, которого весь город принимает за безумца. Он выкрикивает оскорбления в адрес торговцев, прохожих, стражников и самого короля, вызывая всеобщий ужас и смятение. Кажется, его ждёт тюрьма или виселица. Но случается непредвиденное: советник короля, барон фон Гляйхен, видит в дерзком безумце не врага, а человека, способного сказать монарху правду, которую тот давно не слышал.

Так начинается удивительная история дружбы и противостояния между королём-философом и переплётчиком-вольномдумцем. Ганс предлагает Фридриху идеи, опережающие время на столетия: промышленные мануфактуры, свободную трибуну для народа, социальные реформы и даже объединение раздробленной Германии. Он становится тенью короля, его «серым кардиналом» и единственным, кто осмеливается обращаться к монарху на «ты». Но когда Ганс начи-

нает рассуждать об ограниченной монархии и парламенте, их дружба даёт трещину, а советники, давно мечтавшие избавиться от опасного выскочки, подливают масло в огонь.

Этот роман — о смелости говорить правду, о цене дружбы с сильными мира сего и о том, как один-единственный человек может изменить целое государство. Финал истории остаётся открытым, как и сама история Пруссии, стоящей на пороге великих перемен.

Историческая драма с элементами философской притчи о власти, правде и пробуждении народа.

Сцена первая: **Крыши Потсдама**

Год 1763-й от Рождества Христова. Утреннее солнце только-только позолотило шпиль Николаikirхе, но воздух над рыночной площадью уже дрожит не от жары, а от невообразимого, пронзительного крика.

На самом коньке черепичной крыши, там, где жестяной флюгер в виде петуха бессильно вращается по ветру, стоял человек. Одежда его, некогда бывшая камзолом приличного покроя, превратилась в лохмотья, перепачканные сажей и голубиным пометом. Волосы его, цвета пыльной соломы, торчали в разные стороны, а глаза горели тем особенным, лихорадочным огнем, который добропорядочные бюргеры предпочитали не замечать за крепкими ставнями своих домов.

Это был Ганс. Тот самый Ганс, которого еще вчера звали "тихим переплетчиком Фогельзангом", а сегодня вся улица

Бранденбургерштрассе узнала его новое имя — Безумец.

— Эй вы, жирные слизи! — завопил Ганс, уцепившись одной рукой за печную трубу, а второй указывая на двух почтенных торговек рыбой. — Ваши сельди воняют так, будто сдохли еще при Великом Курфюрсте! А вы сами похожи на двух жаб, вылезших из бочки с рассолом!

Фрау Крюгер и фрау Шмидт, привыкшие к почтительному обращению, застыли с открытыми ртами, прижимая к пышным грудям корзины со скользким товаром. Такого позора рыночная площадь не знала со времен шведской оккупации. Ганс же, заметив их замешательство, расхохотался лающим, захлебывающимся смехом.

Но он не остановился. Его взгляд упал на чинно вышагивающего господина в напудренном парике и синем суконном сюртуке — главу гильдии булочников, герра Бауэра.

— А ты, мучной червь! — взревел Ганс, перебираясь по шаткому желобу на пару футов ближе. — Говорят, твой хлеб легче воздуха, потому что ты тратишь муку только на пудру для своей головы, похожей на задницу павиана!

Герр Бауэр побагровел так, что, казалось, его сейчас хватит удар. Толпа, собравшаяся внизу, ахнула, но в этом коллективном вздохе слышались и нотки истерического смеха. Никто не мог понять, бежать ли за священником, цирюльником (чтобы пустить кровь безумцу), или сразу за отрядом ландвера.

Ганс же, вдохновленный произведенным эффектом, вы-

прямылся во весь рост, балансируя так ловко, словно был не человеком, а уличным акробатом. Он театрально вытянул шею и, заметив троицу стражников, лениво сворачивавших с Шлосштрассе, развел руки в стороны, будто собираясь обнять весь город.

— О! — закричал он с особым энтузиазмом, глядя прямо на стражников. — А вот и доблестные защитники Потсдама! Королевские гончие, у которых, кажется, не только мушкетеры, но и мозги покрыты плесенью! Неужели вы забрались на хлебное дерево, как ленивые мартышки, и боитесь слезть?

Один из стражников, молодой рыжеусый верзила, схватился за алебарду. Его старший товарищ, усатый сержант со шрамом на щеке, только прищурился, оценивая высоту покато́й крыши и безумный блеск в глазах нарушителя спокойствия. По городу ходили слухи, что король Фридрих, вернувшийся с войны, терпеть не мог скандалов в своем "парадизе", и сержант прекрасно понимал: это происшествие грозит ему смотром под арест, если он не решит проблему быстро и, желательно, без летального исхода.

Ганс, насладившись паузой, сделал глубокий вдох. От его следующего заявления зависела его судьба, и он знал это. Он взглянул на копошащихся внизу людей, на острые пики алебард, на серое небо Пруссии и на далекий купол Сан-Суси.

— Я читал ваши мысли! — заявил он наконец. — И я знаю, что там, в ваших головах, темно, как в печной трубе после зимы! Вы хотите меня снять? Так попробуйте...

...а я объявляю себя единственным Голосом Истины в этом городе, где король говорит только с лошадьми, а люди — с покойниками!

Повисла страшная тишина. Сержант дернул кадыком. Упоминание странного уединения короля в Сан-Суси и его любви к беседам на могилах собак было запретным и опасным. Теперь это был не просто безумец на крыше. Теперь это был бунт.

Сержант медленно снял треуголку и вытер лоб грязным платком.

— Вяжите! — тихо, но отчетливо скомандовал он стражникам. — Только живым. Король сам решит, что делать с этим... философом.

Сцена вторая: **Осколки Великого Имени**

Площадь замерла. Толпа, только что готовая смеяться, превратилась в море бледных лиц, обращенных кверху. Стражники, услышав приказ сержанта, рванули к дому старого пекаря, с крыши которого вещал Ганс. Тяжелые ботфорты застучали по булыжникам, алебарды зловеще звякнули.

Двое дюжих молодцов в темно-синих мундирах уже ухватились за водосточную трубу, собираясь лезть наверх, когда третий, оставшийся внизу, гаркнул во всю мощь своих пропитых легких:

— Эй, ты, на крыше! Именем короля! Прекрати балаган! Слезай немедленно, дурья твоя башка! Добром просим, а нет — скрутим так, что своих не узнаешь!

Казалось, даже голуби, облепившие карниз, поняли серьезность момента и притихли. Толпа подалась назад, освобождая место для возможного падения тела или для ареста.

Но Ганс Безумец и не думал спускаться. Напротив, он выпрямился во весь свой нелепый рост. В выражении его лица произошла мгновенная перемена: вместо площадного скомороха перед горожанами предстал трагический актер, осененный внезапной и страшной мыслью. Он поднял руку, требуя абсолютной тишины, и, как ни странно, толпа затихла, повинувшись этому безумному жесту.

Стражник, взбиравшийся первым, замер на полпути, вцепившись в черепицу. В воздухе запахло грозой, хотя небо было безоблачным.

— Именем короля? — переспросил Ганс ледяным, неожиданно звонким голосом, разнесшимся по всей площади. — Вы хотите, чтобы я замолчал именем *Этого* короля?

Он сделал эффектную, почти театральную паузу, прошелся, балансируя, по коньку крыши, словно измеряя бездну под ногами, и вдруг заговорил, чеканя каждое слово:

— Вы просите меня молчать именем Фридриха, который зовет себя Великим? Человека, который со слезами на глазах бежал с первого своего сражения при Мольвице, бросив армию, и которого спас только хладнокровный Шверин? *Вели-*

кий полководец, который проигрывал битву за битвой, пока чудо не спасло его потрепанный трон от полного краха? Вы хотите, чтобы я почитал того, кто превратил всю Пруссию в пороховую бочку, а нас, живых людей, — в пушечное мясо и винтики для его дурацкой флейты?

По толпе пронесся не вздох — стон ужаса. Священник, стоявший у входа в собор, схватился за крест и начал беззвучно молиться. Фрау Крюгер выронила корзину, и серебряные сельди рассыпались по грязным камням, но никто этого даже не заметил. Все смотрели на дерзкого безумца, произносившего вслух то, о чем боялись шептаться даже в самых темных подвалах самого глухого трактира.

Ганс же, видя произведенный эффект, только повысил голос. Глаза его горели зеленым, дьявольским огнем.

— Это вы называете *Философом из Сан-Суси*? — горько расхохотался он, указывая пальцем в сторону королевского дворца. — Философ, который презирает родной язык, коверкает стихи на дрянном французском и окружает себя льстецами да старыми педерастами! Где его величие? В том, что он спит на соломе, как конюх, укрывшись собачьей шерстью? Или в том, что он сделал нашу страну посмешищем всей Европы, населив её солдафонами, которые маршируют лучше, чем думают? Я — Ганс Фогельзанг, переплетчик! Я держал в руках больше мудрых книг, чем он написал глупых указов! И я говорю вам...

Тут голос его сорвался в пронзительный фальцет, заглу-

шённый внезапным звоном колоколов, будто сам Бог решил прервать богохульника. Но было поздно.

Сержант, стоявший внизу, побледнел так, что его шрам на скуле стал ярко-багровым. Сейчас решалась уже не просто участь какого-то городского сумасшедшего. Речь шла о государственной измене, произнесенной публично на глазах у сотен свидетелей. Если это донесется до ушей тайной полиции (а она донесется), несдобровать и самому сержанту, допустившему подобные речи.

— Хватит болтать! — взревел сержант, перекрикивая толпу. Его голос был подобен удару хлыста. Он оттолкнул замешкавшегося стражника и выхватил из-за пояса короткий штык. — Заткните ему глотку! Немедленно! Взять живым или мертвым! Это приказ!

Стражники на крыше, очнувшись от оцепенения, с утренней яростью полезли вверх. Черепица крошилась под их сапогами, осыпаясь дождем вниз. Ганс Безумец, только что бывший трибуном и обличителем тиранов, вдруг съёжился и, как испуганный кот, метнулся к слуховому окну.

Облава началась.

Сцена третья: **Полёт мотылька**

Мгновение растянулось, как смола. Ганс загнанно оглянулся. Путь к слуховому окну был отрезан — там уже маячила фигура первого стражника, багровая от натуги и злости. Сзади, по черепице, скрежеща ботинками, приближался

ся второй. Пути вниз по лестнице не существовало. Оставалась только пустота.

Взгляд Ганса упал вниз, на рыночную площадь. Там, прямо под ним, раскинулась торговая палатка старого Джамалья, турка, торговавшего диковинными фруктами. Полотняный тент палатки, натянутый на деревянные колья, был туго набит апельсинами, лимонами и — о чудо! — горой арбузов, привезенных с юга.

В голове безумца не было расчета. В ней играла симфония абсурда. Он вдруг подмигнул остолбеневшему стражнику, развел руки в стороны, словно собирался дирижировать невидимым оркестром, и закричал на всю площадь:

— Я — истина, и истина не тонет! А если и разобьется, то сладко!

И прыгнул.

Толпа ахнула единым ртом. Какая-то женщина пронзительно завизжала. Даже сержант, выдавший смерть в разных ее обличьях, невольно зажмурился, ожидая тошнотворного хруста костей о булыжник.

Но судьба в этот день была столь же безумна, как и Ганс Фогельзанг.

С оглушительным *ТРРРЕСКОМ!* тело безумца врезалось в полотняную крышу палатки. Ткань, к счастью, была старой и гнилой. Она лопнула с мерзким звуком, и Ганс, пробив ее насквозь, рухнул прямо в пирамиду арбузов. Спелые зеленые бомбы взорвались фонтанами алой мякоти и черных

семечек. Апельсины раскатились во все стороны, словно бильярдные шары, сбивая с ног зевак.

Палатка сложилась, как карточный домик, погребая под собой и хозяина-турка, и самого прыгуна. Над площадью повисла туча сладкой пыли и водяных брызг.

Толпа замерла в священном ужасе. А затем из-под груды полосатой ткани и раздавленных фруктов донесся звук. Смех. Захлебывающийся, истерический, безумный смех. Ганс был жив.

— Колдовство... — прошептал священник, судорожно крестясь. — Сам дьявол хранит его кости!

Стражники, спустившиеся с крыши и растолкавшие толпу, выволокли безумца из-под обломков палатки. Вид его был великолепен в своем безобразии: весь в арбузном соке, похожем на кровь, в семечках, с прилипшим к щеке апельсиновым очистком, он сиял, как именинник.

— Жив, каналья! — рыкнул сержант, подбегая и грубо хватая Ганса за шиворот, пока двое других заламывали ему руки за спину так, что захрустели суставы. — Видно, сам Люцифер бережет тебя для виселицы!

Сержант приблизил свое лицо вплотную к перемазанной физиономии Ганса. От него разило чесноком и дешевым табаком.

— Знаешь, что с тобой теперь будет, умник? — прошипел он, брызгая слюной. — Ты не просто заплатишься головой за оскорбление Его Величества. Сначала ты поползаешь на

коленях в казематах, умоляя, чтобы тебя просто выпороли. А потом тебя вздернут, и твой поганый язык посинеет и вывалится изо рта на потеху воронам! В темницу его! Живо!

— В темницу! — эхом отозвались стражники, вздергивая хохочущего Ганса на ноги.

Его поволокли по булыжной мостовой. Ноги его заплетались, но он и не думал упираться. Напротив, он приплясывал, дурачился и строил рожи остолбеневшим торговкам. Проходя мимо все еще бледного герра Бауэра, Ганс вдруг громко икнул, выплюнул арбузное семечко угодившее булочнику прямо в напудренный лоб, и заорал во всю глотку дурным, счастливым голосом:

— А все равно король — коротышка! И музыка его скучная! Ску-у-учная, как постная похлебка!

И захохотал снова, и смех его, эхом отражаясь от стен старого Потсдама, еще долго звенел в ушах перепуганных горожан, когда процессия уже скрылась в темной арке, ведущей к гарнизонной тюрьме.

Сцена четвертая: **Каменный мешок и хор отверженных**

Подземелье встретило Ганса вековой сыростью и мраком, который, казалось, имел собственную плоть — плотную, липкую, пропитанную запахом гнилой соломы, крысиного помета и человеческого отчаяния.

Камера, куда его швырнули, была вырублена в фундамен-

те старой гарнизонной тюрьмы. Стены, сложенные из грубого, почерневшего от времени камня, сочились холодной влагой, оставлявшей на пальцах маслянистую слизь. Узкое оконце под самым потолком — скорее щель для воздуха, чем источник света, — было забрано тройной решеткой, и сквозь нее едва пробивался бледный, безжизненный луч, в котором лениво танцевали пылинки.

Пол устилала слежавшаяся солома, в которой копошились невидимые, но отлично слышимые обитатели. В углу стояло ведро, источавшее такое зловоние, что даже крысы обходили его стороной. Из мебелировки имелся лишь грубо сколоченный деревянный топчан без матраса, покрытый бурыми пятнами, происхождение которых лучше было не воображать. На стене, прямо над изголовьем, какой-то предыдущий узник выцарапал гвоздем или осколком кости кривые слова: «Gott ist tot» — «Бог мертв». Ганс, прочитав их, удовлетворенно кивнул, словно встретил старого знакомого.

Но самым невыносимым была тишина. Вернее, она была бы таковой, если бы не сам Ганс.

Он расхаживал по камере — три шага в длину, два в ширину, — и говорил без умолку. Голос его, охрипший после криков на площади, звучал теперь зловещим театральным шепотом, разносясь по каменному коридору далеко за пределы его камеры.

— ...и эта его знаменитая флейта! Ха! — вещал Ганс, обращаясь к потолку. — Говорят, он играет на ней по ночам,

когда никто не слышит, и воет, как пес, потому что ноты берет фальшивые! А его генералы... эти напыщенные павлины в лентах и орденах! Они же не могут выиграть ни одной битвы без того, чтобы не уложить половину армии в братскую могилу! А Фридрих называет их «мои орлы»! Орлы! Да это стервятники, клюющие падаль королевской казны!

И тут случилось неожиданное.

Из соседней камеры, слева, донесся глухой стук в стену, а затем хриплый, прокуренный голос:

— Верно говоришь, парень! Я служил при Мольвице! Нас положили, как скот, пока этот «Великий» удирал в Оппельн! Вся моя рота полегла, а я вот гнию здесь за то, что сказал правду в лицо капралу!

Из камеры справа отозвался другой, более молодой, но полный злобы голос:

— А я за хлеб! За тухлый хлеб, которым нас кормят! Я всего лишь пекарь, отказавшийся класть в тесто опилки для солдатских пайков! А меня объявили вредителем! И теперь я здесь, слушаю, как этот безумец поет правду, точно соловей!

Ганс, вдохновленный неожиданной поддержкой, вскочил на топчан и, раскинув руки, продолжил с удвоенной силой:

— Братья мои по несчастью! Вы слышите? Мы все здесь — жертвы его великой лжи! Фридрих называет себя «первым слугой государства»? Ложь! Он первый тиран, который...

Дверь камеры с лязгом распахнулась.

На пороге стояли двое стражников. Те самые, что тащили его с площади. Лица их, освещенные тусклым светом масляного фонаря, были искажены смесью бешенства и усталости. Они слушали этот бред уже третий час подряд. По гарнизону поползли слухи, что арестант поносит короля, и это грозило им всем трибуналом, если вовремя не заткнуть глотку безумцу.

— Заткнись! — рявкнул первый, тот самый рыжеусый верзила, сжимая в руке тяжелую дубинку. — Заткнись сейчас же, поганый смутьян, или, клянусь шрамом фельдфебеля, мало тебе не покажется! Я лично переломаю тебе все ребра, и спишут это на несчастный случай!

— Даже короля не услышишь за твоим воем! — добавил второй, поигрывая связкой ключей. — А нам потом отвечать за твой поганый язык!

Но Ганс Безумец, стоя на топчане босыми, грязными ногами, только улыбнулся самой счастливой улыбкой. Он смотрел на стражников сверху вниз, как король на шутов. Затем он набрал полную грудь спертого тюремного воздуха и запел на мотив походного марша, перевирая слова:

— Фридрих — крошка, флейта — дудка, вся Пруссия — мясорубка! Трам-пам-пам! Трам-пам-пам!

И, не переставая петь, он показал стражникам язык, перемазанный все еще не отмытым арбузным соком, похожим на запекшуюся кровь.

Рыжеусый взревел и шагнул в камеру, занося дубинку. Из соседних камер донесся одобрителный свист и хохот. Подземелье гудело, как потревоженный улей. Бунт безумцев набирал обороты.

Сцена пятая: **Несокрушимый**

Рыжеусый стражник, чье имя было Курт, а прозвище среди товарищей — Мясник, первым пересек порог камеры. Его глаза налились кровью, а костяшки пальцев, сжимавших дубинку, побелели от напряжения. Второй стражник, тощий и вертлявый Йохан, запер за ними дверь изнутри и прислонился к ней спиной, скрестив руки на груди. Фонарь поставили на пол, и теперь по каменным стенам плясали уродливые, ломаные тени.

— Значит, не хочешь по-хорошему, — процедил Курт, на-двигаясь на Ганса. — Что ж, как знаешь. Сейчас ты у нас споешь по-другому.

Первый удар пришелся в живот. Тяжелая дубинка с глухим, отвратительным звуком впечаталась в солнечное сплетение. Ганс согнулся пополам, воздух со свистом вырвался из его легких, но он не упал. Он покачнулся, уперся руками в колени и... хрипло рассмеялся.

— И это все? — просипел он, поднимая на Курта слезящиеся, но по-прежнему безумно веселые глаза. — Моя покойная бабушка, штопавшая носки, была больнее, когда я воровал у нее пряники!

Взбешенный Курт ударил снова. На этот раз — по ребрам, потом по спине, потом по плечам. Йохан, воодушевленный примером товарища, тоже шагнул вперед и начал молотить Ганса кулаками, целясь в лицо и в грудь. Звук ударов — мокрый, чавкающий — наполнил маленькую камеру. Они били его жестоко, профессионально, зная, куда целиться, чтобы причинить максимум боли, но не убить сразу. Впрочем, в пылу ярости они уже не особенно следили за силой.

Ганс рухнул на колени, потом на бок, свернулся клубком. Солома под ним потемнела от крови, сочившейся из разбитой губы и рассеченной брови. Его тело превращалось в сплошной синяк — от скулы до бедра, от лопаток до запястий. Каждый вздох давался ему с трудом, и в груди что-то подозрительно хлюпало.

Но он смеялся.

Сквозь кровь, заливавшую лицо, сквозь сломанные, возможно, ребра, сквозь агонию каждого движения — он смеялся. Это был не истеричный хохот сумасшедшего, а какой-то жуткий, потусторонний смех, от которого у обоих стражников волосы на загривке встали дыбом.

Они остановились, тяжело дыша. Курт вытер пот со лба рукавом мундира. Его дубинка была в крови. Йохан с ужасом смотрел на свои разбитые костяшки и на то, как избитый, почти неузнаваемый человек на полу медленно, с трудом, поворачивает к ним голову.

— Знаете... — прохрипел Ганс, выплевывая сгусток кро-

ви вместе с осколком зуба. Его распухшие губы едва шевелились, но голос звучал отчетливо и ядовито. — Когда Фридрих... в очередной раз проиграет битву... он будет выглядеть так же, как я сейчас. Только я хотя бы не ношу парик и не играю на флейте фальшиво.

— Да заткнись ты уже! — взвизгнул Йохан, пятась к двери. В его голосе звучала откровенная паника. — Курт, он одержимый! В него бес вселился!

Курт, тяжело дыша, смотрел на дело своих рук. Он избивал людей и раньше. Многие молили о пощаде, некоторые теряли сознание, кое-кто даже умирал. Но чтобы человек после такой трепки продолжал улыбаться разбитым, кровавым ртом и нести крамолу... Такого он не видел никогда.

— Фридрих — это червь... — прошептал Ганс, с трудом приподнимаясь на локте. Его шатало, перед глазами все плыло, но он продолжал. — Червь на теле Европы... И вся его армия... и вы... вы все — лишь навоз для этого червя...

— Хватит! — рявкнул Курт, но в его голосе уже не было прежней уверенности. Он отступил на шаг.

Ганс, превозмогая боль, сел. Каждое движение причиняло ему невыносимые страдания, но лицо его сияло. Он посмотрел на своих мучителей, и в этом взгляде не было ни страха, ни ненависти — только безграничное, бесконечное презрение.

— Бейте, — сказал он тихо. — Бейте сильнее. Может, тогда вы услышите, как звенит правда. Она звонче ваших ду-

бинок. Она переживет и вас, и вашего короля, и весь этот прогнивший гарнизон.

Курт и Йохан переглянулись. Их лица, освещенные дрожащим светом фонаря, были серыми от ужаса. Они поняли: этот человек не заткнется, даже если ему вырвать язык. Даже если его убить — он, кажется, все равно продолжит говорить оттуда, с того света.

Первым сломался Йохан. Он дрожащими руками отпер дверь и буквально вывалился в коридор. Курт последовал за ним, пятясь, не сводя глаз с Ганса, словно боялся, что тот сейчас вскочит и бросится на него с голыми руками.

Дверь захлопнулась. Лязгнул засов.

В камере вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелым, свистящим дыханием избитого человека. А потом в этой тишине раздался смех. Слабый, прерывистый, но торжествующий.

Сосед слева робко постучал в стену:

— Эй... ты жив там, безумец?

— Жив, — отозвался Ганс, падая обратно на солому и глядя в черный потолок. — Живее всех живых. И знаешь что?.. Фридрих все равно — коротышка...

И он снова засмеялся, и смех его эхом разнесся по тюремному коридору, заставляя стражников на посту тревожно переглядываться и хвататься за амулеты, а узников в соседних камерах — улыбаться в темноте.

Сцена шестая: Визитёр в чёрном

Прошло несколько часов. А может, и целая вечность — в подземелье время текло иначе, сворачиваясь в кольца, как старая змея. Ганс лежал на спине, глядя в темноту распухшими глазами и прислушиваясь к тому, как ноет каждая клеточка его избитого тела. Кровь запеклась на лице темной коркой, ребра при каждом вдохе напоминали о себе острой, пронзительной болью.

Внезапно тишину разорвал звук шагов. Но это были не тяжелые, грузные шаги стражников — эти звучали иначе: сухо, четко, размеренно. Так ступает человек, привыкший повелевать, а не подчиняться.

Лязгнул замок. Дверь отворилась, и в камеру скользнула высокая фигура, закутанная в длинный черный плащ с капюшоном, низко надвинутым на лицо. Никаких знаков отличия, никаких мундиров. Лишь тонкие, аристократические пальцы в дорогих кожаных перчатках, сжимавшие набалдашник трости черного дерева.

Стражник, впустивший гостя, тут же затворил дверь и остался снаружи — молча, беспрекословно, словно дрессированный пес.

Ганс медленно, с трудом приподнялся на локте. Его разбитые губы растянулись в подобии улыбки.

— Ого, — прохрипел он, сплевывая в солому. — Неужели сам Фридрих решил навестить меня в моих скромных апар-

таментах? Или ты — сама Смерть? Только без косы. С тростью. Модная Смерть. Французская, небось?

Неизвестный не шелохнулся. Он стоял неподвижно, точно изваяние, и лишь кончик трости едва заметно постукивал по каменному полу — размеренно, ритмично, словно отсчитывая секунды до приговора.

— Я не король, — произнес он наконец. Голос его был низким, спокойным, лишенным каких-либо эмоций. Так говорят люди, которые давно научились прятать свои чувства глубже, чем этот каземат прячет своих узников. — И не Смерть. Хотя для тебя, быть может, я нечто более опасное.

Ганс хмыкнул, с трудом садясь и прислоняясь спиной к холодной, влажной стене. Каждое движение причиняло боль, но он не подавал виду.

— Более опасное, чем Смерть? — переспросил он. — Ну-ну. Тогда ты, верно, сборщик налогов.

Тень улыбки — едва заметная, как трещина на льду — скользнула по губам незнакомца.

— Я тот, кто задает вопросы. И от твоих ответов зависит очень, очень многое. Хотя ты об этом пока не догадываешься.

Он сделал шаг вперед. Свет фонаря, оставленного в коридоре, упал на его лицо, но капюшон скрывал черты, оставляя видимыми лишь острый, чисто выбритый подбородок и тонкие, бескровные губы.

— Почему ты оскорбляешь короля?

Вопрос прозвучал тихо, но в этой тишине он ударил громче, чем дубинка Курта.

Ганс посмотрел на визитера долгим, изучающим взглядом. Что-то в этом человеке было не так. От него не пахло стражником. От него не пахло тюремщиком. От него пахло властью — той самой, что не нуждается в мундирах и регалиях.

— Потому что он это заслужил, — ответил Ганс просто, пожимая плечами и морщась от боли. — И потому что я так хочу. Разве нужны еще причины?

— Странная логика, — заметил незнакомец, и кончик его трости перестал постукивать. — Заслужил — чем? Тем, что сделал Пруссию державой? Тем, что выигрывал войны, которые никто не ожидал выиграть? Тем, что работает по шестнадцать часов в сутки, пока его подданные спят в своих постелях?

Ганс рассмеялся — коротко, хрипло, болезненно.

— О, да ты, я вижу, начитан. Может, ты его биограф? Или секретарь? — он склонил голову набок, изучая собеседника. — Знаешь, что я скажу тебе? Я был переплетчиком. Держал в руках сотни книг. И знаешь, что я понял? История не пишется победами. Она пишется кровью тех, кто эти победы оплатил. А Фридрих... он платит чужой кровью. И называет это величием.

Незнакомец молчал. Пауза затягивалась, тяжелая, как грозовая туча.

— А ты хотел бы сказать королю все это в лицо? — спросил он наконец. Голос его прозвучал почти буднично, словно он спрашивал о погоде.

Ганс моргнул. Чего-чего, а этого он не ожидал.

— Что? — переспросил он, впервые за время их разговора сбитый с толку.

— Ты прекрасно меня слышал. Хотел бы ты сказать королю все, что ты говорил на площади, все, что ты кричал в этой камере, все, что ты шептал своим соседям сквозь стены, — сказать ему лично, в лицо, глядя в глаза?

Ганс медленно, очень медленно поднялся на ноги. Тело протестовало, суставы хрустели, перед глазами плыли круги, но он встал. Он стоял перед незнакомцем — избитый, окровавленный, в лохмотьях, но с гордо поднятой головой.

— Конечно, — сказал он. И в этом слове не было ни страха, ни сомнения.

Незнакомец кивнул. Медленно, задумчиво, словно записывая что-то в невидимый реестр.

— Хорошо, — произнес он, разворачиваясь к двери. — Тогда завтра у тебя будет такая возможность.

Он постучал тростью в дверь — два коротких удара. Замок лязгнул, дверь отворилась.

— Подожди! — окликнул его Ганс. — Кто ты такой? Почему я должен тебе верить?

Незнакомец на мгновение задержался на пороге. Полуобернулся. Капюшон все так же скрывал его лицо, но Гансу

показалось, что в темноте под ним блеснули глаза — острые, пронизательные, неестественно яркие.

— Ты не должен мне верить, — сказал он тихо. — Но у тебя нет выбора. И, поверь мне, завтрашний день будет для тебя... интересным.

Дверь захлопнулась. Шаги затихли в коридоре.

И впервые за все время своего заключения Ганс Безумец замолчал. Он стоял посреди камеры, глядя на запертую дверь, и молчал. Его разум, доселе занятый лишь безумными речами и безумным смехом, вдруг включился с такой силой, что стало больно.

Кто это был? — думал он, опускаясь на топчан. — Советник? Шпион? Провокатор? Или...

Мысль, которая пришла ему в голову, была настолько дикой, что он тут же отбросил ее. Нет. Не может быть. Король не ходит по тюрьмам. Короли не носят черных плащей. Короли не говорят с безумцами.

Но что, если...

Ганс посмотрел на свои разбитые, окровавленные руки. Потом на прутья решетки. Потом в темноту за окном, где где-то там, за парками и аллеями, возвышался Сан-Суси — дворец человека, которого он так ненавидел.

Завтра, — подумал он. — Завтра я увижу его. Или умру. А может быть — и то, и другое.

Он лег на спину и закрыл глаза. И хотя губы его молчали, в голове уже зарождались новые слова. Те самые, которые он

скажет завтра. В лицо. Лично.

И, возможно, в последний раз в своей жизни.

Сцена седьмая: **Скука короля**

Зал для малых приёмов в Сан-Суси утонул в золоте и зеркалах. Хрустальные люстры, зажжённые несмотря на дневной час, отбрасывали радужные блики на белоснежные стены, украшенные лепниной в стиле рококо — завитушки, амурсы, виноградные лозы, переплетённые в причудливом танце. Огромные окна от пола до потолка выходили на террасу с виноградниками, спускавшимся к озеру, но король Фридрих II, сидевший в резном кресле с высокой спинкой, не смотрел на этот пейзаж. Он вообще ни на что не смотрел.

Свита — человек пятнадцать придворных в расшитых золотом камзолах и напудренных париках, напоминавших облака — расположилась полукругом. Они смеялись. Вернее, делали вид, что смеются, потому что того требовал этикет: один из маркизов, толстый и румяный господин с лицом младенца, только что закончил рассказывать скабрёзный анекдот про французского посла и некую вдову сомнительной репутации. Смех звенел, отражаясь от зеркал, множился, дробился на сотни отголосков, и от этого казалось, что зал полон не людьми, а гиенами в человеческом обличье.

Фридрих не смеялся.

Он сидел, закинув ногу на ногу, и рассеянно постукивал пальцами по подлокотнику. Его знаменитый синий мундир,

простой и без единого ордена — он принципиально не носил наград, называя их «побрякушками для дураков», — сидел на нём мешковато. Плечи, некогда расправленные гордо, теперь сутулились. Глаза — те самые глаза, которые когда-то горели огнём военного гения, смотревшего в глаза смерти при Кунерсдорфе и Росбахе, — теперь были тусклыми, как старая медь. Лицо, изборождённое глубокими морщинами, хранило выражение такой вселенской, бездонной скуки, что, казалось, сама Смерть, заглянув в этот зал, зевнула бы и ушла восвояси.

У его ног, свернувшись клубком на шёлковой подушке, спали две борзые — его единственные друзья, его «маркизы» и «принцессы», которых он любил больше, чем всех присутствующих вместе взятых. Время от времени король протягивал руку и рассеянно гладил собаку, и тогда на его лице мелькало что-то, отдалённо похожее на нежность. Но потом он вновь поднимал взгляд на придворных, и нежность исчезала, сменяясь прежней тусклой апатией.

Маркиз, закончив анекдот, разразился собственным смехом, но, заметив, что король не разделяет его веселья, осёкся и закашлялся. По залу пробежала лёгкая рябь неловкости. Кто-то из дам нервно обмахнулся веером.

— Ваше Величество, — рискнул заговорить молодой барон с напомаженными губами, — быть может, желаете послушать новую сонату? Капельмейстер Бах прислал из Лейпцига...

— Бах мёртв уже тринадцать лет, — перебил его Фридрих, не поднимая взгляда. Голос его был сухим и резким, как треск сломанной ветки. — А его сын, которого вы имеете в виду, пишет музыку, от которой мои собаки воют. Благодарю покорно.

Барон побледнел и отступил, сливаясь с толпой. Смех окончательно стих. Повисла та особенная, звенящая тишина, которая бывает только в королевских покоях, — тишина, полная страха и фальши.

Именно в этот момент боковая дверь отворилась, и в зал бесшумно скользнул человек в чёрном плаще — тот самый советник, что прошлой ночью навещал Ганса в камере. Теперь, при свете дня, капюшон был откинут, и можно было разглядеть его лицо: узкое, аскетичное, с высоким лбом мыслителя и холодными серыми глазами, которые, казалось, видели каждого присутствующего насквозь. Это был барон фон Гляйхен, один из доверенных советников короля по особым поручениям — слишком умный, чтобы быть любимым двором, и слишком полезный, чтобы быть удалённым от трона.

Он приблизился к королю и поклонился — не раболепно, как другие, а с достоинством равного.

— Ваше Величество, — произнёс он негромко, так, чтобы слышал только король. — Я подготовил для вас... развлечение.

Фридрих медленно, словно преодолевая сопротивление самого воздуха, поднял глаза.

— Развлечение, — повторил он без всякого выражения. — Вы сказали «развлечение», Гляйхен? В последний раз, когда вы обещали мне развлечение, ко мне привели итальянского тенора, который фальшивил так, что у меня разболелась голова на три дня.

— На сей раз, Ваше Величество, это нечто совершенно иное, — Гляйхен позволил себе тонкую, едва заметную улыбку. — Я для вас подготовил такого смешного человека, что вы непременно рассмеётесь. И позабавитесь. Как раз то, что нужно в этот унылый день.

Король приподнял бровь. Это было первым проявлением хоть какого-то интереса за всё утро.

— И кто же этот таинственный шут? Очередной французский комедиант? Или, быть может, дрессированная обезьяна из колоний? Обезьяны, кстати, забавнее французов.

Придворные, услышав это, разразились подобострастным смехом, но король даже не взглянул в их сторону. Он смотрел только на Гляйхена.

— Нет, Ваше Величество, — ответил советник, и в его голосе зазвучала та особенная, тщательно дозированная интрига, которую он умел подавать лучше всех при дворе. — Это не комедиант. И не обезьяна. Это... как бы вам сказать... местная достопримечательность. Тот самый безумец, который вчера орал с крыши на Бранденбургерштрассе и поносил всех подряд — от рыбных торговков до... — он сделал паузу, многозначительно глядя на короля, — ...до весьма вы-

соких особ.

В зале стало так тихо, что слышно было, как муха бьётся о стекло.

Фридрих медленно выпрямился в кресле. Его борзые, почувствовав движение хозяина, подняли головы и насторожили уши.

— Тот самый безумец, — повторил король медленно, пробуя каждое слово на вкус. — Который оскорблял... высоких особ.

— Именно так, Ваше Величество.

— Интересно, — протянул Фридрих, и что-то блеснуло в глубине его тусклых глаз — что-то похожее на искру, которую давно считали угасшей. — Чрезвычайно интересно. И вы полагаете, Гляйхен, что человек, оскорбляющий корону, способен меня рассмешить?

— Я полагаю, Ваше Величество, — ответил советник с поклоном, — что этот человек способен вас... заинтересовать. А интерес, как вы сами неоднократно говорили, есть первая ступень к развлечению.

Король помолчал. Потом внезапно, без всякого предупреждения, издал короткий, сухой смешок — первый за весь день.

— Хорошо, — сказал он, откидываясь в кресле и складывая руки на груди. — Приведите его. Посмотрим, насколько он смешон. И насколько он безумен.

— И, быть может, — тихо добавил Гляйхен, — насколько

он честен.

Фридрих бросил на советника быстрый, острый взгляд, но ничего не сказал. Он лишь сделал едва заметный жест униженной перстнями рукой — жест, который мог означать всё что угодно: и королевское соизволение, и молчаливое предупреждение.

Советник поклонился и исчез так же бесшумно, как появился. Свита замерла в тревожном ожидании, переглядываясь и перешёптываясь. Фридрих же вновь опустил взгляд на своих борзых, и на его тонких, ироничных губах заиграла тень улыбки — странной, загадочной, не сулившей ничего хорошего.

Посмотрим, безумец, — казалось, говорил его взгляд. — Посмотрим, осмелишься ли ты сказать мне в лицо то, что кричал с крыши. Или, как все остальные, упадёшь на колени и будешь умолять о пощаде.

Где-то в коридорах дворца уже гремели шаги стражи, ведущей Ганса. Представление начиналось.

Сцена восьмая: **Истина, одетая в лохмотья**

Тяжелые дубовые двери распахнулись, и в зал вошли четверо стражников. Вернее, они не вошли — они втащили человека, который едва переставлял ноги, закованные в кандалы. Цепи волочились по мраморному полу с отвратительным скрежетом, царапая драгоценную инкрустацию.

Когда Ганс предстал перед королевским двором, по залу

прокатилась волна смеха — того самого, особенного, жестокого смеха, который бывает лишь у сытых и благополучных людей при виде чужого падения.

— Боже правый! — воскликнула какая-то маркиза, прижимая к лицу кружевной платок, будто вид Ганса оскорблял её обоняние. — Он похож на пугало, которое упало с поля и по дороге его избili крестьяне!

— А эти синяки! — подхватил толстый барон, поправляя парик. — Господа, взгляните — он фиолетовый, как баклажан! А местами зелёный, как протухший сыр!

— Интересно, — хихикнула фрейлина с напудренными до белизны щеками, — он сам такого цвета или это модный оттенок сезона? Месье безумец, не подскажите имя вашего портного? Кажется, его зовут господин Побои?

Придворные разразились новым взрывом хохота, и смех этот, многократно отражённый зеркалами, бил Ганса по ушам сильнее, чем дубинка Курта. Стражники поставили его в центре зала, прямо перед королевским креслом, и отошли на два шага назад, оставив узника одного — под перекрёстным огнём насмешек.

Ганс стоял, пошатываясь. Грязные бинты, которыми тюремный лекарь кое-как перемотал его раны, проступали сквозь прорехи в лохмотьях. Один глаз заплыл так, что почти не открывался, губа была рассечена, а на скуле красовался огромный кровоподтёк цвета переспелой сливы. Но второй глаз — открытый, ясный, странно спокойный — смот-

рел прямо перед собой. На короля.

Фридрих разглядывал его с выражением, которое трудно было истолковать однозначно. В нём смешивались брезгливость, любопытство и что-то ещё — быть может, тень разочарования. Он ожидал увидеть что-то более... впечатляющее. А увидел просто избитого бродягу.

— Так, значит, это и есть тот самый безумец, — произнёс король, и голос его прозвучал скучающе, почти лениво. Он откинулся в кресле, поигрывая тростью. — Должен признаться, Гляйхен, ваше описание было несколько более... лестным. Выглядит он не как безумец, а как жертва уличной драки из-за кошелька.

Придворные захихикали, но король поднял руку, и смех мгновенно стих.

— Говорят, ты насмешил вчера всю рыночную площадь, — продолжил Фридрих, прищуриваясь. Его борзые подняли головы и смотрели на Ганса с тем же выражением, что и хозяин: оценивающе, холодно, чуть насмешливо. — Ты будешь сейчас нас смешить? Давай, начинай. Покажи, на что способен. Позабавь нас. Мы здесь, знаешь ли, умираем со скуки.

Ганс молчал.

— Ну же, — король чуть усмехнулся, и эта усмешка была страшнее любой угрозы. — Расскажи нам что-нибудь о рыбе. Или о булочниках. Или... — он выдержал паузу, — ...о королях.

По залу прокатился нервный смешок, но тут же осёкся.

Все ждали. Ганс стоял неподвижно, опустив голову. Его дыхание было тяжёлым, свистящим — видимо, сломанные рёбра давали о себе знать.

— Ну? — поторопил король, начиная терять терпение. — Язык проглотил? Вчера, говорят, ты был куда разговорчивее. Даже чересчур.

Тишина в зале сгустилась до звона. Кто-то из фрейлин нервно хихикнул. Советник Гляйхен, стоявший у трона, замер, и его серые глаза неотрывно следили за Гансом.

И вдруг безумец поднял голову.

— Почему, — произнёс он тихо, но отчётливо, — мы ничего не производим?

Смех оборвался мгновенно, как отрезанный ножом. Будто кто-то вылил ушат ледяной воды на разгорячённую толпу. Маркиз, поправлявший парик, застыл с поднятой рукой. Фрейлина, хихикавшая в платок, подавилась собственным смехом.

Фридрих, уже готовившийся к очередной порции шутовства, замер. Его усмешка сползла с лица, сменившись выражением, какого двор не видел на королевском лице уже много лет: неподдельным удивлением. Он даже чуть подался вперёд в своём кресле.

— Что ты сказал? — переспросил он, и в его голосе не было ни гнева, ни насмешки. Только странное, напряжённое любопытство.

Ганс сделал шаг вперёд. Цепь звякнула. Стражники на-

пряглись, но король едва заметным жестом остановил их.

— Я спросил, Ваше Величество, — голос Ганса звучал хрипло, но твёрдо, — почему мы ничего не производим?

Он обвёл взглядом зал — всех этих напудренных господ, всех этих дам в шёлках, — и в его единственном открытом глазу горел огонь, которого не было даже на крыше.

— Вы превратили Пруссию в большой военный лагерь, — продолжил он, и каждое его слово падало в мёртвую тишину, как камень в воду. — Марши, парады, мундиры, штыки... Но этот лагерь ничего не производит. Кроме дырок в мундирах. Дырок, которые нужно зашивать. Солдат, которых нужно кормить. Пушек, которые нужно покупать.

Он снова шагнул вперёд. Теперь он стоял в десяти шагах от трона — и ни один человек в зале не мог отвести от него взгляда.

— Сила государства не в штыках. Она в мануфактурах. В заводах. В ремёслах. Мы покупаем сукно в Англии, кружева во Франции, инструменты в Голландии. Мы даже пуговицы для солдатских мундиров заказываем у саксонцев! Саксонцев, Ваше Величество! Ваших врагов! С которыми вы воюете!

Фридрих не шевелился. Его лицо было непроницаемо, как мраморная маска, но пальцы, сжимавшие трость, побелели.

— Без своих заводов, — Ганс почти шептал, но шёпот его разносился по всему залу, — без своих мануфактур, без своих ткачей, кузнецов и мастеров... вы не король великой дер-

жавы. Вы просто богатый наёмник. Который покупает всё — от пуговиц до пушек — у своих врагов. И пока ваши солдаты маршируют, враги богатеют на ваших же заказах. А потом продают оружие тем, кто будет стрелять в ваших солдат.

Он замолчал. В зале повисла такая тишина, что слышно было, как потрескивают свечи в люстрах.

Толстый барон побагровел. Маркиз судорожно сглотнул. Фрейлина, та самая, что смеялась над синяками Ганса, сидела белая, как её пудра, и прижимала руку к груди.

Все взгляды обратились к королю.

Фридрих сидел неподвижно. Потом медленно, очень медленно, он поднялся с кресла. Борзые встрепенулись, но он не обратил на них внимания. Он сделал шаг к Гансу. Потом ещё один. Он подошёл так близко, что мог бы коснуться его тростью, но не сделал этого. Он просто стоял и смотрел — в упор, в глаза — на этого избитого, окровавленного человека в лохмотьях.

— Ты, — произнёс король тихо, и голос его был странным, лишённым привычной резкости, — только что сказал то, что я думаю каждую ночь уже десять лет.

Свита ахнула. Где-то в задних рядах кто-то выронил веер. Советник Гляйхен, всё это время стоявший неподвижно, позволил себе едва заметно улыбнуться — одними уголками губ.

А Ганс Безумец, избитый и закованный в цепи, стоял перед королём Пруссии и молчал. Потому что слов больше не

требовалось. Всё уже было сказано.

Сцена девятая: **Манифест безумца**

Тишина, воцарившаяся после первых слов Ганса, казалась, достигла того предела, за которым уже начинается вечность. Но безумец не закончил. Он стоял перед королем — избитый, в цепях, в лохмотьях, — и вдруг распрямил плечи настолько, насколько позволяли сломанные ребра. В его единственном открытом глазу горел не просто огонь — там пылал пожар.

— А знаете, почему вы не слышали этого раньше, Ваше Величество? — Ганс обвел взглядом придворных, и каждый, на ком останавливался его взгляд, невольно отступал на шаг. — Потому что ваша свита вас боится. Все эти напудренные павлины, эти маркизы с пустыми головами, эти бароны с жирными кошельками — они говорят вам только то, что вы хотите услышать. Лесть, сплетни, скабрзные анекдоты... Они боятся вам дерзить. Боятся говорить правду. Боятся, что король нахмурится — и они лишатся своих тёплых местечек, своих пенсионов, своих приглашений на ужин!

Он ткнул пальцем — насколько позволяли кандалы — в сторону толстого барона, который ещё недавно смеялся над его синяками.

— Вот вы, сударь! — голос Ганса звенел. — Когда вы в последний раз говорили королю что-то, что могло бы ему не понравиться? Что-то полезное? Что-то, от чего зависит

судьба Пруссии, а не меню королевского ужина?

Барон побагровел так, что, казалось, его сейчас хватит удар. Он открыл рот, чтобы ответить, но издал лишь невнятное бульканье.

— Вот именно! — Ганс расхохотался, и смех его эхом отразился от зеркал. — Они все такие. Они вам — мёд в уши, а за спиной — сами знаете что. А я? Мне нечего бояться. Я безумец! Меня уже избили, меня уже бросили в яму, меня уже, считай, похоронили. Что ещё вы можете мне сделать? Убить? Так я и так уже почти мёртв. А мёртвые, Ваше Величество, не умеют бояться. Мёртвые умеют только говорить правду.

Он сделал ещё шаг вперёд. Стражники дёрнулись, но Фридрих стоял неподвижно, и его лицо было подобно маске, высеченной из камня. Только глаза — живые, острые, требовательные — требовали продолжения.

— Так вот, — Ганс понизил голос, и от этого он стал ещё страшнее, — я так и не услышал ответа на свой вопрос. Почему мы ничего не производим? Почему у нас нет производства? Я спросил — вы промолчали. Вы, величайший монарх Европы, философ, музыкант, полководец... Вы промолчали на вопрос простого переплётчика!

Фридрих медленно, очень медленно провёл рукой по подбородку. В зале стояла такая тишина, что слышно было, как скрипнула кожа его перчаток. Потом король поднял голову. Его взгляд встретился со взглядом Ганса — и никто не отвёл

глаз.

— Что ты предлагаешь? — спросил король. И это был не риторический вопрос. Не угроза. Не издёвка. Это был вопрос равного к равному.

Ганс улыбнулся разбитыми губами. Это была странная улыбка — не безумная, а почти печальная.

— О, наконец-то правильный вопрос, — сказал он. — Ну, слушайте же.

Он поднял руку, и кандалы звякнули, словно аккомпанируя его словам.

— Вы выиграли войну на поле боя. Под Лейтеном, под Росбахом — я знаю, я слышал, я переплетал газеты, описывавшие ваши победы. Но вы позорно проигрываете её в кошельках своих подданных! Пруссия сегодня — это богатый лесник, который побирается у соседей. У нас есть леса, песок, реки, руки... но мы продаём всё это за гроши, а покупаем обратно — за золото! Послушайте мой план, если у вас ещё осталось желание быть королём не только солдат, но и процветающего народа.

Он вытянул вперёд один палец.

— Первое. Прекратите торговать грязью и брёвнами! Мы рубим наш лучший лес и продаём его за гроши голландцам, чтобы потом покупать у них же мебель в десять раз дороже. Это безумие, достойное меня! Построим королевские лесопилки и мебельные фабрики прямо на Одере — там, где вода сама несёт брёвна. Мы будем экспортировать не сырые

стволы, а изысканные шкафы и крепкие корабли с клеймом прусского орла! Пусть вся Европа обставляет свои дворцы нашей мебелью и плавает на наших судах!

Второй палец взметнулся в воздух.

— Стекло из нашего песка! Пруссия буквально стоит на песке и дровах — а это и есть стекло! Хватит кормить венецианских стеклодувов и богемских мастеров, которые смеются над нами и дерут втридорога. Мы заложим мануфактуры зеркал и оконного стекла прямо здесь — в Бранденбурге, в Померании. Пусть вся Европа смотрится в прусские зеркала и платит нам золотом за каждый блик! Каждый раз, когда французский маркиз будет поправлять парик перед зеркалом, он будет класть деньги в нашу казну!

Третий палец.

— Оденьте армию в своё, Ваше Величество! Ваша гордость — ваши великаны-гренадеры — маршируют в мундирах из чужого сукна! Это не просто позор. Это измена! Вы зависите от поставок из Англии и Саксонии — а что, если завтра война? Что, если враг перережет поставки? Ваша армия останется голой! Мы откроем ткацкие фабрики в Силезии — там, где уже есть овцы и шерсть. Они будут шить форму не только для нашей армии, но и на продажу другим королям. Пусть их солдаты носят наше сукно, пока наши пушки решают споры!

Четвёртый палец.

— Власть и порядок. Чтобы эти жирные бароны-мини-

стры, — он снова ткнул пальцем в толстого придворного, и тот вжал голову в плечи, — не разворовали бюджет, я создам Высший Индустриальный Совет. Я лично буду вбивать им чертежи в головы! Те, кто не захочет строить заводы, заплатят налог на безделье. Не хочешь работать на величие Пруссии — плати! И деньги эти пойдут на закупку станков для тех, кто работать хочет. Пусть трудолюбие вознаграждается, а лень — наказывается. И через десять лет Пруссия станет не просто армией с государством, а государством с армией. Первой промышленной державой Европы!

Он замолчал. Грудь его тяжело вздымалась, дыхание со свистом вырывалось сквозь сломанные рёбра. Кровь из разбитой губы капала на мраморный пол, и капли эти — алые на белом — были похожи на рубины, рассыпанные по снегу.

В зале воцарилась такая тишина, какой Сан-Суси не знал с момента своей постройки. Лица придворных представляли собой галерею ужаса, изумления и растерянности. Толстый барон, казалось, сейчас лишится чувств. Маркиза, смеявшаяся над синяками, смотрела на Ганса с выражением, близким к религиозному трепету. Даже стражники, закалённые ветераны, переглядывались с открытыми ртами.

Фридрих стоял неподвижно. Его лицо, изборождённое морщинами, не выражало ни гнева, ни насмешки. Он смотрел на Ганса так, как, вероятно, смотрел когда-то на карту перед решающей битвой — оценивая, рассчитывая, предвидя. Прошла минута. Две.

Наконец король заговорил. Голос его прозвучал неожиданно мягко.

— Ты не безумец.

— Я знаю, — ответил Ганс, улыбаясь окровавленным ртом. — Но это единственный способ говорить с королями и оставаться в живых.

Фридрих медленно повернулся к своей свите. Он обвёл их взглядом — тяжёлым, оценивающим, презрительным. Никто не смел поднять глаз.

— Посмотрите на этого человека, — произнёс он негромко, но каждое слово звенело металлом. — Он избит. Он закован в цепи. Он стоит одной ногой в могиле. И при этом он единственный за десять лет, кто сказал мне правду. А вы? Вы все — мои советники, мои министры, мои маркизы и бароны — что сказали мне вы? Что вы предложили? Анекдоты? Сплетни? Просьбы о пенсиях?

Он резко развернулся обратно к Гансу.

— Уведите его, — приказал он стражникам. Но тут же добавил, подняв руку: — Но не в камеру. Отведите в покои для гостей. Пусть ему окажут помощь. Пусть отмоют, перевяжут и накормят. А завтра... завтра мы продолжим наш разговор.

Стражники, потрясённые не меньше придворных, подхватили Ганса под руки. Безумец позволил себя увести, но на пороге обернулся.

— Ваше Величество, — сказал он, и голос его прозвучал почти весело, — только не заставляйте меня ждать слишком

долго. У меня есть ещё несколько идей. И все они касаются вашей казны.

И он исчез за дверью, оставив за собой звон цепей, эхо дерзких слов — и полное, абсолютное молчание королевского двора.

Фридрих ещё долго стоял посреди зала, глядя на закрытую дверь. Потом вдруг, совершенно неожиданно для всех присутствующих, издал короткий смешок. А затем — смех. Настоящий, живой, искренний смех. Такого король не смеялся уже много лет.

— Гляйхен, — произнёс он, отсмеявшись, — вы были правы. Этот человек действительно меня позабавил.

— И не только позабавил, Ваше Величество, — тихо ответил советник. — Кажется, он только что спас Пруссию.

Король ничего не ответил. Он лишь задумчиво погладил борзую и устремил взгляд в окно, туда, где над виноградниками опускалось солнце — красное, как кровь, и золотое, как монеты, которые пока ещё не лежали в прусской казне.

Сцена десятая: **Шёпот в зеркалах и эхо на площади**

Зал всё ещё пребывал в оцепенении. Придворные стояли, точно восковые фигуры в кунсткамере, — застывшие, бледные, с открытыми ртами. Прошло уже несколько минут с тех пор, как стражники увели Ганса, а никто так и не решился заговорить первым.

Первым нарушил тишину толстый барон, тот самый, ко-

того Ганс публично обозвал "жирным павлином" и пригрозил налогом на безделье. Он наклонился к маркизу, чей парик слегка съехал набок от пережитого потрясения, и прошептал — но в мёртвой тишине зала шёпот этот прозвучал отчётливо, как крик:

— Кто этот безумец? Откуда он взялся?

Маркиз, всё ещё бледный, ответил едва слышно:

— Говорят, переплётчик. Простой переплётчик с Бранденбургерштрассе. Фогельзанг, кажется... Ганс Фогельзанг.

— Переплётчик? — ахнула фрейлина с веером. — Боже мой, он говорил как министр! Как... как сам Кольбер при дворе Людовика!

— Хуже, — прошептал кто-то из задних рядов. — Он говорил как пророк. Как Иеремия, обличающий царей.

— Вы слышали, что он сказал про зеркала? — зашептала другая дама, нервно обмахиваясь. — Что вся Европа будет смотреться в прусские зеркала... Это же... это же гениально!

— Тсс! — шикнул на неё супруг. — Не спешите восхищаться. Король ещё не решил его судьбу. Сегодня он в гостевых покоях, а завтра может оказаться в каземате. Или на виселице.

Толстый барон, лицо которого постепенно обретало нормальный цвет, процедил сквозь зубы:

— Если этот проходимец войдёт в доверие к королю, нам всем конец. Вы слышали про его Высший Индустриальный Совет? Про налог на безделье? Это же прямое оскорбление

всего дворянства!

— Тише, барон, — прошипел маркиз. — Король смотрит.

И правда. Фридрих, всё это время стоявший у окна и задумчиво глядевший на закат, вдруг обернулся. Его лицо, ещё недавно бывшее маской скуки и уныния, теперь светилось той особой, живой энергией, которую придворные не видели со времён Семилетней войны. Глаза его, ещё утром тусклые, как старая медь, теперь искрились. Он был весел. Почти счастлив.

— Почему замолчали? — спросил он, обводя взглядом безмолвную свиту. Его голос звучал почти насмешливо, с той лёгкой иронией, которая была у него в молодости. — Ещё полчаса назад вы тут смеялись, как гиены над падалью, рассказывали скабрёзные анекдоты, хохотали, звенели бокалами... А теперь стоите, будто вас громом поразило. Что случилось? Неужели один оборванец в цепях сумел испортить вам аппетит?

Никто не ответил. Придворные лишь ниже опустили головы.

— Веселитесь! — приказал король, и в его голосе зазвучал металл. — Я вам приказываю веселиться! Смейтесь, чёрт возьми! Или мне привести этого безумца обратно, чтобы он рассмешил вас своим налогом на безделье?

Несколько придворных выдавили из себя нервные смешки, больше похожие на всхлипы. Толстый барон попытался улыбнуться, но улыбка вышла такой жалкой, что Фридрих

только махнул рукой и отвернулся.

— Гляйхен, — позвал он, и советник мгновенно возник рядом, словно соткался из воздуха. — Идёмте. Нам есть что обсудить.

Король взял советника под руку — жест неслыханной фамильярности, от которого у придворных глаза полезли на лоб — и увлёк его в боковую галерею, оставив свиту в полном смятении.

— Вы были правы, — произнёс Фридрих, когда они отошли достаточно далеко. — Этот человек не просто позабыл меня. Он заставил меня думать. А это, знаете ли, лучший подарок, который может сделать королю кто-либо.

— Осмелюсь заметить, Ваше Величество, — осторожно ответил Гляйхен, — он заставил вас не просто думать. Он заставил вас чувствовать.

Фридрих остановился и посмотрел на советника долгим, изучающим взглядом.

— Вы правы, — сказал он тихо. — Я чувствую себя живым. Впервые за долгое время.

И он продолжил путь, а его шаги, звонкие и чёткие, эхом разносились по пустым коридорам Сан-Суси.

В тот же вечер. Потсдам. Город.

Молва — она как пожар в сухом лесу. Её не нужно раздувать, достаточно одной искры. И такой искрой стал Ганс

Фогельзанг.

В таверне "У золотого грифона", где собирались ремесленники и мелкие торговцы, какой-то подвыпивший писец из городской канцелярии рассказывал, размахивая кружкой:

— Клянусь святым Николаем, мой кузен служит в дворцовой страже! Он сам видел! Этого безумца, Ганса, привели к королю в цепях, а он, представьте, стоял перед Фридрихом и говорил ему в лицо всё, что думает! И король не казнил его! Король слушал! А потом приказал отвести его в гостевые покои! В госте-вы-е! Вы понимаете?!

— Врёшь! — не поверил кто-то.

— Чтоб мне провалиться! — писец перекрестился. — Говорят, он предложил строить фабрики и засадить налогами всех дворян-бездельников! И король смеялся!

За соседним столом другой рассказчик, пекарь, разбирающийся в политике не лучше, чем в астрономии, разносил уже собственную версию:

— Этот Ганс — он не безумец вовсе! Это переодетый принц! Из какого-то шведского рода! Или даже из французского! Его специально подослали, чтобы спасти Пруссию от разорения! Вы слышали, что он сказал про пуговицы? Что мы покупаем пуговицы у врагов! И король не знал! А Ганс знает!

В лавке ткача на Рыночной улице старый мастер, всю жизнь кланявшийся цеховым старшинам, вдруг расправил плечи и сказал своим подмастерьям:

— Слыхали? Какой-то переплётчик сказал королю, что нам нужны свои ткацкие фабрики. Наши! В Силезии! И король слушал! Может, хоть теперь мы не будем покупать сукно у саксонцев...

В доме бургомистра, где собрались отцы города, царила паника.

— Это возмутительно! — кипятился глава гильдии купцов. — Какой-то оборванец, безумец, смутьян — и он смеет давать советы королю? А мы? Мы, почтенные люди, платящие налоги и содержащие город?!

— Говорят, он предложил создать Высший Индустриальный Совет, — мрачно заметил другой. — И налог на безделье.

— Это конец! — простонал кто-то. — Конец нашему влиянию. Конец нашим привилегиям.

А в бедных кварталах, в тех самых, где ютились подёнщики, прачки и бывшие солдаты, сплетни звучали иначе. Там женщины, стирая бельё в лоханях, перешёптывались:

— Слыхали про Ганса? Говорят, он из наших. Из простых. И он сказал королю правду. Всю правду — про налоги, про цены, про то, что мы живём хуже собак при дворце!

— И что король? — спрашивали соседки, затаив дыхание.

— А король... говорят, король слушал. И поселил его во дворец. И назвал своим советником. Может, теперь что-то изменится...

Слухи ползли, ветвились, обрастали невероятными по-

дробностями. Кто-то говорил, что Ганс на самом деле — ангел, посланный с небес, чтобы вразумить короля. Кто-то — что он бывший профессор из Галле, сошедший с ума от чтения запрещённых книг. Кто-то — что он вовсе не переплётчик, а тайный сын самого Фридриха Вильгельма, покойного короля-солдата, и что он вернулся, чтобы вернуть Пруссии былое величие.

И в центре всех этих слухов, в одном из гостевых покоек Сан-Суси, на чистых простынях, пахнущих лавандой, лежал избитый, забинтованный, но абсолютно счастливый Ганс Фогельзанг. Он смотрел в потолок, украшенный лепниной, и улыбался.

Он знал, что завтрашний день изменит всё. Или убьёт его. Или вознесёт. Но впервые за долгое время он чувствовал, что его слова — те самые, что рождались в тишине переплётной мастерской при свете свечи, — были услышаны. Не толпой. Не стражниками. А королём.

И это было только начало.

Сцена одиннадцатая: **Кабинет короля**

Рабочий кабинет Фридриха II в Сан-Суси мало походил на те роскошные залы, где ещё вчера смеялась и злословила придворная свита. Это было суровое, почти спартанское помещение — отражение души человека, который называл себя «первым слугой государства».

Стены, обшитые тёмными деревянными панелями, были

голы. Никаких гобеленов с мифологическими сценами, никаких портретов предков в золочёных рамах — лишь большая карта Европы, занимавшая целую стену, да несколько книжных шкафов, набитых потрёпанными томами на французском, немецком и латыни. В углу, на простом дубовом столике, стоял глобус — выдавший виды, с потёртыми боками и выцветшими от времени континентами.

Письменный стол короля был завален бумагами, чернильницами, перьями и раскрытыми фолиантами. Никакой роскоши — только порядок, только работа. Рядом, на отдельной подставке, лежала флейта — единственная вещь в комнате, говорившая о том, что её хозяин иногда позволяет себе отдых.

Окна выходили на террасу с виноградниками, и утренний свет, пробивавшийся сквозь них, заливал кабинет холодным, ясным сиянием. В камине потрескивали дрова — весна в этом году выдалась прохладной.

Вокруг стола, образуя полукруг, расположились пятеро советников. Они сидели на жёстких стульях с прямыми спинками — Фридрих принципиально не держал в кабинете мягкой мебели, считая, что комфорт усыпляет мысль. Каждый из этих людей был по-своему значителен, и каждый смотрел на вошедшего Ганса с особенной, тщательно скрываемой враждебностью.

Первый — барон фон Штайн, министр финансов, сухой и желчный старик с крючковатым носом и вечно поджаты-

ми губами. Его пальцы, унизанные перстнями, нервно постукивали по подлокотнику. Именно его ведомству грозили реформы безумца, и именно он больше всех терял в случае перемен.

Второй — граф фон Шуленбург, военный министр, грузный мужчина с багровым лицом и седыми усами, свисавшими до самого подбородка. Он смотрел на Ганса с откровенным презрением, как смотрит боевой генерал на штатского, осмелившегося рассуждать о пушках. Его мундир был застёгнут на все пуговицы, а на груди красовался орден — один-единственный, но за настоящую доблесть.

Третий — барон фон Гляйхен, уже знакомый нам советник по особым поручениям. Он единственный, кто смотрел на Ганса с интересом, а не с враждой. Его серые глаза, умные и проницательные, внимательно изучали вчерашнего безумца. Он сидел чуть поодаль от остальных, словно подчёркивая свою независимость.

Четвёртый — епископ фон Калькштейн, представитель церкви, полный, рыхлый человек с маслянистым взглядом и вечной полуулыбкой, которая никогда не достигала глаз. Он был здесь скорее для вида, как напоминание о союзе трона и алтаря, но в государственные дела вмешивался редко — разве что когда затрагивались церковные земли и доходы.

Пятый — тайный секретарь, герр Мюллер, маленький, неприметный человечек в сером сюртуке, с чернильными пятнами на пальцах и бегающим взглядом. Он ничего не ре-

шал, но записывал каждое слово, каждую интонацию, каждый вздох — и его протоколы потом ложились на стол королю.

И вот в эту компанию, пропитанную властью, интригами и десятилетиями придворной жизни, вошёл Ганс Фогельзанг.

Он преобразился. Грязные лохмотья исчезли — теперь на нём был простой, но добротный камзол тёмно-зелёного сукна, белая рубашка и скромный шейный платок. Волосы, ещё вчера торчавшие во все стороны, как солома из пугала, были аккуратно причёсаны и собраны в недлинный хвост. Его отмыли, побрили, перевязали раны — и теперь он выглядел не как безумец с крыши, а как... странно. Как человек, который мог бы сидеть за этим столом. Почти.

Но лицо — лицо по-прежнему хранило следы вчерашних побоев. Огромный синяк на скуле, переходящий из фиолетового в жёлто-зелёный, рассечённая губа, заплывший глаз, который теперь чуть приоткрылся, но всё ещё напоминал о дубинке Курта. Эти отметины странным образом контрастировали с новой одеждой, и в этом контрасте было что-то глубоко неправильное, что-то, от чего советники невольно отводили взгляды.

Фридрих сидел за столом, откинувшись в своём кресле — единственном кресле в комнате с мягкой обивкой. Он был без парика, в простом синем мундире, и выглядел отдохнувшим. Его глаза, ещё вчера тусклые, сегодня светились тем особенным, опасным блеском, который бывает у игрока пе-

ред большой ставкой.

Когда Ганс остановился в центре кабинета, король окинул его долгим, оценивающим взглядом и чуть усмехнулся.

— Ну, как самочувствие? — спросил он, и в его голосе звучала странная смесь участия и сарказма. — Мои лекари, надеюсь, не окончательно тебя залечили?

Ганс чуть склонил голову. Движение было почти вежливым, но в глазах горел всё тот же, уже знакомый королю, неугасимый огонь.

— Самочувствие, — ответил он, обводя взглядом собравшихся, — нормально. Но не так, как у государства.

Советники переглянулись. Барон фон Штайн нахмурился ещё сильнее. Граф фон Шуленбург хмыкнул в усы. Епископ перестал улыбаться.

— У государства, — продолжил Ганс, делая шаг вперёд, — самочувствие гораздо хуже моего. У меня — синяки. А у Пруссии — переломы. И я здесь не для того, чтобы говорить о своих болячках.

Он выдержал паузу, глядя прямо на короля, и вдруг — так же просто, как вчера, — сказал:

— Я не зря тебя критиковал. И моя критика оправдана полностью.

По кабинету пронёсся единый вздох ужаса. «Тебя». Он сказал «тебя». Не «Ваше Величество». Не «мой король». Не «государь». Просто — «тебя». Обратился к Фридриху II, победителю трёх войн, монарху, перед которым трепетала Ев-

ропа, как к равному. Как к соседу по лавке. Как к приятелю в таверне.

Этого не мог вынести никто.

Первым взорвался граф фон Шуленбург. Он с грохотом поднялся со стула — старый вояка, чьё лицо побагровело так, что шрам на лбу стал почти незаметен на общем багровом фоне.

— Как ты смеешь?! — взревел он, и его голос, привыкший перекрывать грохот канонады, заставил задрожать стёкла в окнах. — Как ты смеешь говорить с королём на «ты», презренный червь?! Ты, вчерашний бродяга, уличный крикун, смутьян, который должен был болтаться на виселице, а не стоять в этом кабинете! Ты забылся! Ты...

— Граф, — тихо произнёс Фридрих, но в этой тишине было больше власти, чем в крике генерала.

Шуленбург осёкся на полуслове, словно налетел на невидимую стену.

Король медленно перевёл взгляд с генерала на Ганса. В его глазах плясали бесенята — Фридрих явно наслаждался происходящим.

— Оставьте его, граф, — сказал он, и в голосе его зазвучала та самая, знаменитая язвительность, которой боялись больше, чем пушек. — Этот человек вчера назвал меня коротышкой с фальшивой флейтой, сравнил мою армию с мясорубкой, а мой двор — со стаей павианов. После всего этого его «ты» звучит почти как комплимент.

Он встал из-за стола и подошёл к Гансу почти вплотную. Теперь они стояли лицом к лицу — король-философ и безумец-переплётчик. Их разделяло два шага, и воздух между ними, казалось, потрескивал от напряжения.

— Смотри, Ганс, — произнёс Фридрих, и теперь его голос звучал серьёзно, без тени насмешки. — Я принимаю твою дерзость. Я принимаю твои слова. Ты говоришь то, чего никто не смеет мне сказать, и за это я готов многое тебе простить. Но смотри внимательно, — он указал рукой в окно, туда, где на холме, за виноградниками, виднелся голый дуб. — Если ты меня обманешь... Если будешь мне врать... Если твои планы и цифры окажутся лишь безумным бредом сумасшедшего... То тот дуб у входа в парк станет для тебя не просто деревом. Виселица тебя ждёт.

В кабинете стало тихо. Даже потрескивание дров в камине, казалось, стихло, прислушиваясь к ответу.

Ганс посмотрел в окно. Посмотрел на дуб. Потом снова перевёл взгляд на короля. Его разбитые губы растянулись в улыбке — странной, спокойной, почти безмятежной.

— Я ничего не боюсь, — сказал он. Голос его звучал ровно, без вызова, без бравады. Просто констатация факта. — Мне не страшно. Страшно — молчать. Страшно — не говорить правду. Я был переплётчиком, знаешь ли. Я держал в руках сотни книг. И я понял одну вещь: мир гибнет не от правды. Мир гибнет от молчания. От того, что люди боятся. От того, что льстецы шепчут в уши королям сладкую ложь,

а правда гниёт в тюремных камерах.

Он обвёл взглядом советников — всех пятерых.

— Вот они, — сказал он, указывая на них рукой. — Посмотри на них. Они все знают. Они все видят. Каждый из них понимает, что Пруссия катится в пропасть, пока мы покупаем пуговицы у саксонцев, а зеркала — у венецианцев. Но они молчат. Потому что боятся. Боятся потерять свои должности, свои пенсии, свои тёплые местечки у трона. Их молчание — вот настоящая измена. Не мои слова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.